МАКСИМ МИТИН

Опись утраченного лета



Максим Митин

Опись утраченного лета

«Автор»
2026

Митин М.

Опись утраченного лета / М. Митин — «Автор», 2026

В первую витрину Арсений положил билет на речной трамвайчик. Его забыла в книге женщина, с которой он переждал июньский ливень на Мойке. Сахарницу из кондитерской, где они встречались, он потом выкупил. А стеклянное пресс-папье с её свадьбы попросту украл.Арсений чинит старинные часы. Вера реставрирует петербургские дома и мечтает однажды открыть запертый двор, чтобы любой прохожий мог выйти к воде. Им достаётся одно лето. Когда Вера уходит, Арсений превращает свою квартиру в Коломне в музей их любви. У каждой вещи есть история, и за точность каждой он готов поручиться.Спустя пять лет Вера переступает порог его мастерской. Она узнаёт билет, берёт его в руки — и рассказывает совсем другую историю о синей полоске на бумаге.

© Митин М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 12
Глава 3 18
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Максим Митин
Опись утраченного лета

Глава 1
Билет на речной трамвайчик № 4

Июнь 2014 года

Если приподнять стекло, билет шевельнётся. Эту особенность первой витрины обнаружил мальчик, которого мать привела ко мне снять с пальца колечко. Пока я подводил под серебряный ободок промасленную нитку, он свободной рукой дёрнул за медную пимпочку и увидел, как розовая бумажка на дне приподнялась навстречу ему, словно рыбка, желающая есть. В последующие два года у меня побывали учительница пения, трое водопроводчиков, студентка из Пскова и чрезвычайно воспитанный вор, который взял в передней мой кошелёк, предварительно вынув из него фотографии. Никто из них не догадался поднять стекло. Вы можете. Здесь всё можно брать в руки. Единственная вещь в этой квартире, за которую я в самом деле боюсь, висит у вас за спиной на вешалке. Это ваше пальто. Крючок отходит от стены.

Билет сделан из скверной бумаги, той особенной дешёвой выделки, при которой одна сторона приобретает жирноватый лоск, а другая, если провести по ней против света ногтем, встаёт коротенькой белой шерстью. Первоначальный цвет его мне известен только по складке. Снаружи за десять лет он сделался цвета варёной курицы, внутри ещё розов, и там, в сгибе, жирная печатная четвёрка сохранила крохотный хвост, продавленный литерой. От середины билета до зубчатого края тянется тонкая синяя черта. Долгое время я показывал её посетителям с особенной охотой. Она представлялась мне единственным чернильным штрихом, который Вера провела, держа меня за руку. Какой пустяк потребовался спустя пять лет, чтобы лишить меня этой маленькой уверенности, вы увидите в комнате с часами.

В складке у билета застряла белая крупинка. Я оставил её в покое. Отец однажды уронил минутную стрелку в сахарный песок и нашёл её, взвешивая по очереди половины содержимого сахарницы. В детстве я полагал, что по достижении известного возраста все мужчины научаются таким вещам, а именно находить пропавшее, зная его вес. Мне сорок четыре года. Отцовские весы достались мне в исправности.

В тот июньский четверг я нёс через Мойку старую книгу. Переплётчик, у которого я её только что получил, велел мне до вечера держать её под мышкой, чтобы тёплый бок прижал корешок. По правде сказать, это была шутка. Переплётчик был человек крупный, вдовый, с тем даром к веселью, который людям тихим кажется свойством счастливой семейной жизни, и любил поглядеть, как его советы исполняются. Я исполнил. Под правой рукой у меня лежало «Практическое руководство к содержанию башенных часов», от которого пахло кожей и, по неведомой особенности клея, грушей. Рука затекла, и, когда на парапет упали первые тяжёлые капли, я особенно огорчился тому, что поленился взять у переплётчика обёртку.

У пристани стоял складной полотняный навес. Под ним, у самого края, девушка держала над головой белый картон, так что оставался узкий сухой промежуток между её локтем и железной стойкой. Дождевая струя, стекавшая со шва мне за воротник, заставила меня придвинуться к незнакомке гораздо ближе, чем допускали мои понятия о приличии.

— Можно я у вас здесь постою?

— Вы уже стоите, — сказала она и повернула белый картон рисунком к себе.

Я успел заметить лестницу. Она была расчерчена очень тонко, простым карандашом, и на нижней площадке, возле первой ступени, оставался след стёртой человеческой фигурки. От неё уцелел один ботинок. По картону расползалось мокрое пятно с острым, как у Балтийского моря на школьной карте, заливом. Девушка приложила к нему уголок платка. Вода ушла в батист, и там, где минуту назад стоял нарисованный человек, проступила нижняя ступень.

— Жалко, — сказал я.

— Человечка? Я его три раза стирала. Всё выходило, будто он с этой лестницы падает.

Она отняла платок и посмотрела на одинокий ботинок.

— Теперь, пожалуй, упал.

Разговор наш мог этим кончиться. По другую сторону полотняной крыши застучали каблучки, кто-то рванул навес к себе, и вся вода, собравшаяся в парусиновой впадине, вылилась на пустой ящик из-под бутылок. Грохнуло так, что девушка и я одновременно присели. Из будки, где продавали билеты, показалась женщина с длинной жёлтой косой, перекинутой вперёд через плечо.

— Вы едете? — спросила она. — Если вы едете, чего же вам тут стоять, а если стоите, то и стойте себе подальше. Мне сейчас всё это складывать.

Девушка зажала картон коленями и стала искать деньги. Из кармана плаща показалась сперва половина яблока в салфетке, затем деревянный складной метр. Пока она пыталась вернуть метр в карман, салфетка развернулась, яблоко выпало мне на ботинок и покатилось к воде. Я загородил ему дорогу другой ногой. Было что-то до неприличия домашнее в том, как она, совсем меня не стесняясь, наклонилась и взяла с моего ботинка свою еду. Через несколько месяцев я отдал бы солидную сумму за пять минут такой свободы рядом с ней.

— Докуда? — спросил я, расплачиваясь вслед за нею.

— Обратно сюда же, — сказала кассирша. — Там написано. Круговой.

У меня впервые за последние три года нашлось дело, для которого решительно требовалось отправиться туда же, где я уже находился. Я сошёл по сходням. Дождь поднял на воде такое множество крошечных венцов, что голубь, сидевший на мокрой покрышке у причала, казался единственным уцелевшим сухопутным существом. Девушка устроилась на низенькой скамье под крышей и забрала с соседнего места свою сумку. Не уверен, что она меня звала. Я сел.

Скамья была узкая, наши колени оказались выше обычного, и это придавало нам несколько пристыженный вид взрослых людей, которых усадили обедать за детский стол. Из всех мест на трамвайчике только отсюда, как я скоро понял, можно было смотреть в небольшое квадратное оконце на уровне глаз. Прочие окна заливало, перед этим же по стеклу ходил резиновый дворник, приводимый в движение из рубки длинной тягой. При каждом повороте тяга вздрагивала, в деревянной переборке что-то отвечало ей глухим щелчком. Я начал считать. На девятом щелчке девушка, ещё не вполне отдышавшаяся после яблока, сказала:

— Вы уж досчитайте, а потом я спрошу.

— До скольких?

— Откуда мне знать? Вы губами шевелите.

В ту пору я был способен с совершенным равнодушием выслушать, что у меня дурной характер, что я неблагодарный сын или никуда не гожусь в мужья, но сообщение, что я имею привычку шевелить губами, повергло меня в такое смятение, что я немедленно выдал ей все причины этой привычки, включая обстоятельства моего первого профессионального позора. В двадцать два года, стоя на лесенке в дамской спальне одной весьма благородной семьи, я решил по слуху, что французские картельные часы с пастушком спешат. Взял у пожилой хозяйки деньги за исправление, спустился, вынес лесенку, а назавтра был вызван обратно и застал бедную даму в постели, задвинутой поперёк дверного проёма. Она, испугавшись обмана, с утра

двигала мебель и наконец нашла за кроватью батарейный будильник покойного мужа, тиканье которого я и принимал за второй, ошибочный удар анкерной вилки.

— Деньги вернули?

— Конечно.

— А кровать?

Я замолчал. Деньги действительно вернул, произнёс довольно изящную речь о профессиональной чести, раскланялся и ушёл. Кровать пришлось двигать кому-то ещё.

— Вот, — сказала девушка. — Когда рисую лестницы, я всё время забываю про кровать. По моим лестницам можно подняться пешком, под руку, в длинном платье, с ребёнком на руках. А попробуйте внести на второй этаж шкаф.

— У нас шкапы втаскивали через окно.

— Прекрасно. И зимой тоже? Человек снимает раму, ждёт подводу, идёт за соседом, чтобы тот держал верёвку, а в это время какой-нибудь аккуратный господин возвращает ему деньги и считает вопрос исчерпанным.

Она усмехнулась. У одного уголка её рта появилась едва заметная складочка, какая бывает на туго натянутой наволочке от прикосновения пальца. Остальное лицо сохраняло внимательное деловое выражение. Именно это сочетание мне потом никак не удавалось найти ни на одной фотографии, хотя я изучил их столько, что мог безошибочно определить, каким боком она села к окну, даже если самого окна не было видно.

Матрос снял с кнехта петлю, волокно, напитавшееся водой, с мягким чавканьем отлипло от железной шляпки. Девушка встала на колени на скамью, потянула меня за рукав.

— Посмотрите вон туда. Только быстро, пока не уехало.

Я ждал, что она покажет мне дом. Вместо него в оконном квадрате помещалась женская голова, разделённая надвое полоской гранита. Мы опустились ещё на ладонь относительно берега, и оказалось, что наверху, облокотясь о парапет, стояла кондукторша с жёлтой косой, а снизу, из подвала, смотрела за водой другая женщина, пожилая, очень на неё похожая. Ещё мгновение они продолжали составлять одно лицо, причём нижняя женщина, точно челюсть у куклы, имела возможность говорить за обеих, а потом трамвайчик взял вправо, и лицо разъехалось.

— Понимаете теперь, зачем я езжу? — спросила девушка. — Прихожу к людям с фасадом, показываю, где будет цоколь, а они сидят и смотрят, как будто у них глаза на высоте второго этажа. Их никто за это не упрекнёт. Даже фотограф становится к противоположной стенке, выбирает местечко повыше. А есть ещё вот она, снизу. Она отсюда чужих глаз за двадцать лет, может быть, ни разу не видала.

— Я Вера, — сказала она. — У вас есть часы с секундной стрелкой? Мне нужно засечь один промежуток. Если я стану считать, то пропущу.

На запястье у меня был белый след от ремня. Наручные часы я с утра завёл, выставил, положил на верстак и там оставил. Под верхней пуговицей жилета, куда по старой отцовской привычке я продевал цепочку, свисал на этот раз лишь ключ от мастерской. В нагрудном кармане, кроме квитанции, хранился детский свисток в виде утки, который мне оставила соседская девочка с просьбой починить, чтобы свистел тише. Видимо, я был единственным пассажиром, не способным сообщить точное время, и во всяком случае единственным, кому приходилось этим зарабатывать себе на жизнь. Я представился и предложил для отсчёта механический дворник.

— Полный оборот занимает три секунды с небольшим. Когда нужно начинать?

— Увидите водосточную трубу. Чёрная, с белым коленом. За ней идёт светло-зелёный дом, за домом будет решётка. Мне нужно знать, сколько времени из-под моста видна решётка. Лучше всего с того места, где мы сейчас сидим. Оттуда нельзя видеть дальше, чем видит ребёнок.

— А зачем ребёнку решётка?

— Через неё видно дверь. Скажите, когда покажется труба.

Я охотно принял поручение. Из воды наш город выглядел совсем новым, как иногда собственная ладонь, если долго прижимать её к запотевшему стеклу, а потом отнять и неожиданно увидеть на стекле отпечаток, напоминающий карту незнакомой страны. Дома, которые мне случалось проходить взад и вперёд в часы дурного расположения духа и которые я считал изученными до последнего карниза, предъявляли теперь бугристые животы набережных, обросшие короткой и склизкой зеленью, каменные заплаты вокруг стоков, тёмные промежутки между облицовочными плитами. Один такой промежуток был так широк, что в нём уместилась берёзка о четырёх листочках. Я следил за ней, пока она не исчезла за переплётом окна, и за этим занятием едва не пропустил трубу.

— Идёт!

Вера поднесла лицо к стеклу. В одну секунду погас свет, какой-то тяжёлый запах мокрого кирпича, нагретой смазки и невымытого железного ведра вошёл в салон, дети на корме завизжали от удовольствия, услышав под мостом собственное эхо. Я видел сбоку короткие чёрточки Вериных ресниц, среди которых на одной, самой длинной, всё ещё держалась капля дождя. Потом ударил свет, и в оконце появилась ограда, сперва слитная, чёрная, затем сквозная, из тонких копий с золочёными набалдашниками, а за ними, на солнечном месте, рыже-коричневая дверь.

— Есть! — сказала она.

Дворник дважды перешёл через стекло, остановился на долю секунды, вернулся в третий раз. Я объявил результат. Вера достала огрызок карандаша, записала на ребре картона и, всё ещё не совсем вернувшись оттуда, где побывала одна, спросила меня, какого цвета дверь.

— Вы сами могли видеть.

— Я смотрела на того, кто должен был в неё выйти.

Пока я старался сообразить, кого она ждала за дверью, Вера положила картон мне на колени. Теперь я различил на площадке спящую собаку, ошейник и круглый жетон. Вера сказала, что собака жива, хотя совершенно оглохла. Потом она порвала свою салфетку надвое.

Вера отломила от яблока потемневший бок и протянула мне другой. Я взял. На отвороте её рукава, где проступили изнаночные узелки вышивки, удалось разобрать фамилию: Лисицына.

Вера прочла заглавие моей книги и попросила открыть её там, где речь шла о башнях. В книге вся речь шла о башнях. Я нашёл гравюру, на которой двое мастеровых в фартуках, стоя на поперечине, поднимали воротом тяжёлое колесо. Внизу, среди густых чёрных штрихов, поблёскивала оставленная на полу кружка.

— Да ведь они спускают, — сказала Вера.

— Почему вы так думаете?

Она отняла у меня салфетку, в которой оставалось яблочное семечко, сложила её уголком, положила на ворот. Мастеровые исчезли. Остались канат, колесо и возле края страницы рука с растопыренными пальцами, выставленная вперёд человеком, стоявшим ниже.

— Видите руку у нижнего края? Она уже подхватывает колесо. А тот, на вороте, пятку оторвал от доски. Попробуйте удержать кого-нибудь на весу — у вас тоже пятка поднимется.

— Здесь целый человек за обрезом, — сказала Вера, когда мы опять сели. — Он один знает, куда поставить колесо. Я всё время хочу нарисовать такую штуку, чтобы самое важное пришлось искать за краем. Мне двадцать девять лет, и я ни разу ещё не могла оставить за краем даже пустую корзинку. Представляете, каково работать с человеком, который рисует все корзинки?

Я сказал, что такую лестницу стоило бы увидеть в натуре. Мои слова прозвучали несколько смелее, чем я рассчитывал. Она положила гравюру на сумку, придерживая раскры-

тые страницы билетом, сложенным вчетверо, и глянула на меня в упор. В глазах у неё сейчас отражалась узкая полоска воды под мостом, отчего зрачки казались разного размера. Ничего, кроме некоторого любопытства, я в этих глазах не прочёл. По счастью, сказать мне было что.

— Посмотрите у нижнего края рисунка. Такая же круглая тень. Возле первой ступеньки я ещё на берегу её видел. Там что-нибудь прежде висело?

Вера расстегнула сумку. В ней лежал небольшой, пухлый от вложенных листочков школьный словарь, из каких девочки вынимают буквы, чтобы писать туда телефоны подруг и названия духов. Между Р и С уместился конверт с фотографиями. Она выбрала одну, накрыла ею рисунок. Штукатурная стена у подножия лестницы, тёмный круг с грязным белым полумесяцем по верхнему краю. Внизу вмятина, похожая на след короткого маятника, который кто-то раскачал так сильно, что линза зацепила стену.

— Вы думали, часы? — спросил я и достал рабочую лупу.

Она придержала снимок обеими руками, подняв его над скамьёй так, чтобы на глянцевую поверхность падал свет из нашего квадратного окна. Под увеличением стали видны деревянные чурочки, две наверху и одна прямо над вмятиной. В них когда-то вогнали шурупы. На кончике одного расстояние съела светлая потёчность, зато второй различался прекрасно, и головка у него была вовсе не круглая. Я зачертил ногтем на мокрой скамейке маленький квадрат.

— Вам повезло. Барометр. Вы когда-нибудь видели большой круглый барометр с длинным языком термометра внизу? Их вешали в передней, чтобы знать, брать ли на улицу калоши. Два шурупа наверху держали дощечку, а нижний привёртывали с лица, в самую середину резной деревянной розы. Она потом отгибалась на петле. Видите, где гвоздь? Маятник бился бы на другом расстоянии. Так что это, должно быть, передняя. Вы можете выкинуть из рисунка всю плиту.

— Ещё чего. Я эту плиту вчера полдня чертила. И барометр ваш не мешает здесь кухне быть. Отец мой, например, хранил в кухне токарный станок. А мать во всяком разговоре с малознакомым человеком до сих пор говорит «у нас в столовой».

Она убрала конверт, но карточку оставила у меня в пальцах. Снимок был сделан совсем недавно. Если поднести к глазам перевёрнутую лупу и отодвинуть её подальше, то вся лестничная площадка помещалась внутри крошечного опрокинутого кружочка. Я показал его Вере. Она подставила под подбородок ладонь, так что я подержал для неё стекло, и вдруг, увидев свою лестницу величиной с копейку, пожаловалась, что не может вспомнить запаха дома, в котором провела чуть ли не всю прошлую весну.

— Одну минуту, — сказал я, возвращая фотографию. — Вы там жили?

— Там жил до войны отец моей матери. Я хожу туда по работе. В книжке это интересно было бы перевернуть. Скажем, человек поступает на работу в какой-нибудь дом, а потом выясняется, что там жил его дед. Сделайте милость, если когда-нибудь напишете про меня книжку, оставьте так, как было. Я знала про деда и сама выпросила этот заказ. Мне надоело рисовать наличники на чужих дачах. Хозяева дач слушают, потом спрашивают: а что, если пластик? Они деликатные, вам бы понравились.

— Что будет с домом? — спросил я.

— Сейчас сделают проект. Кто сделает, тот и будет рассказывать, что с ним будет. Я хочу, чтобы рассказывала я.

Она сказала это внятно, глядя поверх моей головы в сторону набережной, на которой две девочки в белых босоножках осторожно несли между собой переполненную дождём детскую ванночку. Сколько ни думаю о той минуте, я не нахожу в ней ничего, что оправдало бы мою последующую глухоту. Я всё расслышал. Я даже произнёс несколько вполне уместных слов относительно её будущего. Только я немедленно представил себе, как буду приходить к ней в готовый дом и, снимая пальто, видеть её спину, склонённую над чертежом, и тёмный хвост

волос у выреза платья. Для того, что она сказала, в этой чудесной картине места не потребовалось.

Рулевой дал короткий, надтреснутый гудок. Мы уже поворачивали к жёлтой пристани. Матрос перепрыгнул на нос, сунул босую ступню в резиновую туфлю. Пассажиры встали, заблаговременно озаботившись свёртками, шарфами и детскими вёдрами.

— А где вы работаете? — спросила Вера. — Я про часы.

Я назвал улицу. Она переспросила номер и велела мне записать на обороте снимка ещё и фамилию. Карандаш у неё сломался. У меня нашлось старое автоматическое перо, которое писало лишь в том случае, когда его держали близко к жалу, и обязательно пачкало указательный палец. Трамвайчик стукнуло бортом о сваю, ручка поехала по глянцевой фотографии, Вера поймала меня за запястье, и на эту секунду, если угодно знать, я и обменял потом целых десять лет своих совершенно свободных вечеров.

Она забрала снимок с адресом. Я остался стоять на палубе с книжкой в руках. Матрос требовал, чтобы я выходил, и было уже слышно, как кассирша, успевшая накинуть на плечи пуховый платок, хотя стало совсем тепло, зазывает желающих на следующий круг. Вера обернулась со сходней.

— Откуда вы знаете, что барометр именно такой? Вас в школе этому научили?

— Нет. У нас дома был. Матери хотелось знать погоду, а отец, когда мы ссорились, подходил к нему и стучал по стеклу. От этого хоть минуту можно было помолчать приличным образом.

— Удобная штука.

Сойдя на пристань, она постояла возле дерева, с которого капала дождевая вода, застегнула разошедшуюся застёжку на своей сумке и, повернувшись на звук упавшей поблизости тяжёлой капли, подставила под следующую верхнюю губу. Ей не удалось поймать каплю. У меня в памяти удержалась её крупная шея с двумя складками, на которые до той минуты я не обращал внимания, и беззащитные мокрые ноздри. Угол дома скрыл её сразу, без промежуточного вида удаляющейся фигуры. Я некоторое время глядел на это совершенно исправное сооружение с обидой человека, перед которым невежливо захлопнули дверь.

Книгу я раскрыл дома, положив на рабочий стол рядом с часами, весь день исправно отсчитавшими моё отсутствие. Билет упал к ним на стекло самым лёгким углом и скользнул под браслет. Своего я не нашёл. Вероятно, оставил его на пристани у женщины с косой, а может быть, подложил в салоне под короткую ножку скамейки, как поступаю во всех помещениях, где мебель качается. Верин был сложен вчетверо. Складывал я потом бумажные деньги, квитанции и кусочки того же размера, чтобы узнать, произвёл ли бы на них столько же складок человек, собирающийся воспользоваться билетом как закладкой. Получалось всякий раз две складки вместо трёх, потому что я всякий раз принимался считать неправильно. Хотелось доказать вещь, невозможную даже арифметически: что она оставила билет нарочно.

Под вечер пришла за свистком девочка. Я подклеил под утиный клюв полоску лайки, и вместо резкого свиста утка стала издавать тихий звук, какой получается, если пытаться свистнуть онемевшими на холоде губами. Девочка попробовала, осталась чрезвычайно довольна.

— Теперь бабушка будет думать, что это у неё в ухе, — объяснила она.

Когда она ушла, я захотел установить дату, относящуюся к билету. Вместо того чтобы посмотреть на календарь, я зачем-то позвонил матери. Она жила тогда на Васильевском и называла мне дни недели по обеду в своей столовой.

— Четверг, Сеня. Я кость проглотила. Ты чего звонишь?

— Да так.

— Это хорошо. Тебе подойти?

Она всегда говорила «тебе подойти», хотя дорога с Васильевского занимала у неё около часа, а колени болели так, что она садилась на лесенке к трамвайной площадке и вползала в

вагон задом. Я сказал, что ничего не нужно, пожелал ей доброй ночи и впервые за много лет устыдился, что не имею обыкновения звонить ей просто так. Билет я вложил обратно в книгу. Не знаю, почему выбрал ту самую страницу. У мастерового, принимающего тяжёлое колесо снизу, из-за обреза гравюры торчали пять тёмных пальцев. Я просунул розовую бумажку под его большой палец, захлопнул переплёт и только тогда заметил, что на собственном пальце у меня по-прежнему чернила.

Телефон зазвонил, когда я уже мыл руки. Мать спросила, нельзя ли завтра прислать кого-нибудь посмотреть её настенные часы, потому что сейчас, только что, они пробили одиннадцать вместо девяти. Я начал было объяснять ей про счётный круг, потом сказал:

— Я сам приеду. А кровать у тебя удобно стоит?

— При чём тут кровать?

— Ни при чём, мама. Ты меня завтра дождись.

Глава 2
Фарфоровая сахарница с отбитой ручкой

Июль 2014 года

На второй полке, возле самой стенки, стоит сахарница, которую я взялся как-то починить. Родной ручки у меня не было. Я провёл на бумаге линию уцелевшей, перевернул лист к свету и получил совершенно точный образ недостающей части. Потом выточил из бука болванку, и уже с неё можно было снимать форму. На этом предприятие остановилось. Деревянная ручка, которую вы найдёте здесь же в ящике, тёплая, с едва заметной зазубриной под согнутый палец, кажется мне теперь более достойной храниться в этой комнате, чем вся остальная посуда. Если вам знакомо ремесло, вы знаете странную нежность мастера к вещи, которая существует лишь затем, чтобы по ней сделали другую и выбросили первую.

Сахарница овальная. На одном конце её цветёт ветка мелких садовых роз с почти коричневой сердцевиной у самого нижнего цветка. На другом сохранились две шероховатые фасолины фарфора. Верхняя белее нижней. Под ободком, если подышать, проступает сухая сетка кракелюра, местами затёртая чаем. Крышка с крохотным золочёным жёлудем от другого сервиза и садится в гнездо только наискось. В восемь часов утра, когда в окно соседнего дома уже ударило солнце, а в моё ещё ни разу не заглянуло, отражённый от водосточной трубы свет попадает под эту кривую крышку, и кажется, будто в сахарнице оставили горящую спичку.

Утром того дня, когда я увидел её впервые, мать стояла у окна в чулках до колен и в моих старых трусах для гимнастики. Она подстригала ножницами края своих матерчатых туфель, выкраивая для больного пальца красивое круглое отверстие. Я уже осмотрел её часы, выпил чашку чаю, нашёл под кроватью синий тапок, который она искала с Рождества, и совершенно исчерпал обязанности хорошего сына, как они мне тогда представлялись.

— Значит, боем своим ты довольна? — спросил я.

— Если бы все били по желанию, пол-Ленинграда бы в полдень оглохло. Пусть бьют. У тебя тут телефон жужжал, я взяла.

— И что же?

— Ничего. Женщина спрашивает, реставратор ли. Я говорю, а вы кого реставрировать собрались? Она отвечает, если начистоту, пока никого, только сказать не решаюсь. Я говорю, тогда я вас буду скрывать.

— Мама!

— Я твою мастерскую сдала под бильярдную? Чего ты так произносишь это слово, будто я сейчас упаду? Позвонила женщина, увидела на двери записку «Буду к двум», замёрзла, пошла в пирожковую. Где твоя пирожковая?

Возле моей мастерской было три пирожковых, но лишь в одной можно было сидеть и ждать. Тут до меня дошло: Вера пришла. Прочла записку с моим телефоном на двери. Как хорошо было знать, что она уже пришла, и ещё не знать, зачем.

Мать стянула туфлю, просунула мизинец в вырезанный кружок и посмотрела на меня поверх согнутого колена.

— Арсений, я ей сказала, что ты будешь через полчаса.

— Отсюда не доехать за полчаса.

— Так я ей сказала двадцать минут назад.

Я нашёл Веру у прилавка. Она стояла ко мне спиной, всё в том же плаще, который я успел научиться безошибочно узнавать со спины примерно на десятке совершенно посторон-

них женщин. Буфетчица перед нею разрезала кусочек торта, и Вера, придерживая пальцем блюдце, просила сдвинуть нож на волосок, чтобы розочка из крема досталась другой половине.

— Розу не любите? — спросил я.

— Розу он любит, — ответила она и кивнула на стоявшего по левую руку мальчика в серой отцовской кепке. — А у него сорок рублей. У меня восемьдесят. Делим.

Мальчик, получив половину с розой, проворно слизнул розу и повернулся к выходу. За стеклом остановилась девчонка с такой же серой кепкой, торчащей из кармана куртки. Мальчик протянул ей пустую половину. Вера проводила их внимательными глазами.

— Сейчас отберу, — сказала она. — Честное слово, выйду и отберу.

Буфетчица достала из холодильника свёрнутый рожком листок вощёной бумаги, наклонилась над Вериным куском и в шесть быстрых поворотов выдавила на срез торта прекрасную новую розу.

— Идите отберите, я погляжу, — сказала она.

Мы сели под зеркалом. Вера достала знакомый конверт с открытыми сверху четвёрками на обороте. В нём лежали чужие деньги, и ей больше не хотелось носить их с собой.

— Я не знаю, сколько берут за выезд. Если больше, скажите. Я лучше сразу буду знать, что больше.

— Куда ехать?

— Сегодня никуда. Вы тут окажите одну любезность. Достаньте деньги, пересчитайте и дайте мне расписку. Тогда я смогу вечером с отцом поужинать, не выворачивая карманов над тарелкой.

В конверте лежали четыре сотенные бумажки и одна полусотенная, сложенные по отдельности. К бумажкам была приложена пуговица с якорем. Я пересчитал, высыпал пуговицу на стол. Вера небрежно смахнула её в сахарницу. Глядя на моё лицо, она, вероятно, поняла, что поступила несколько неожиданно.

— Ой. У нас дома такая же, и там пуговицы. Дайте ложечку.

Я взял у буфетчицы ситечко для чая и просеял сахар. Пуговица осталась в сетке, мокрая от чайной капли, и золото на якоре ярко проступило посреди облезлой жестяной воды.

Нина Семёновна, как звали буфетчицу, подала нам квадрат фольги. Пока я заворачивал пуговицу, Вера положила передо мной фотографию. Молодая пара стояла по пояс в траве перед деревянным домом. Мужчина держал на вытянутых руках тяжёлый предмет. Женщина рядом с ним смотрела вниз и, прикрывая рот, смеялась.

— Гляньте, — сказала Вера и придвинула ко мне снимок за край, как подают анализы врачу. — Мамины родители. Двадцать лет свадьбы. Снимал папа, тогда ещё посторонний человек. Видите, что дед в руках держит?

Это был круглый барометр с длинным термометром на доске из полированного дерева. Деления читались каждое порознь, а у оправы отбилась половинка деревянной розы. Между досок дачного крыльца торчал свиной пятачок. Стоило заметить его, стало совершенно ясно, отчего смеётся женщина.

— Не могу сказать, что именно он там висел. Могу сказать, что по длине и по креплению подходит. Имеется ли сам прибор?

— Если бы имелся, мы бы вас не беспокоили. Его мать продала, когда я в музыкальную школу поступала. Я год прозанималась. Дорого обошлась семье моя собачья полька. Папа услышал, что часы на стене оказались барометром, велел снять с антресолей альбом. Потом пошёл и разменял тысячу. Ему обязательно надо определённо знать, чего он лишился.

Я спросил, давно ли умерла её мать. Вера сняла палец с края фотографии, и на ней остался след крема.

— Что вы всё норовите кого-нибудь у меня похоронить? Мама жива, слава богу. Если бы я при ней произнесла «собачья полька», она бы сказала, что и этого от меня не дождалась.

Родители двадцать лет в разводе. У папы есть одна особенность. Стоит ему войти, и мама уже ищет, чем ему отдать. Я им сообщаю разное. Папе говорю, что барометр дело стоящее, имеет смысл его поискать. Маме я скажу, что он давно испортился и на такой старый чинить ничего не выпускают. Теперь вот думаю, что скажу вам.

Она отодвинула блюдце. Розочка на ломтике торта поплыла от жары, в донышке её блестела вода. Я нашёл на обороте кассового чека свободное место и написал, что получил у Веры Лисицыной за осмотр фотографии и предварительное определение прибора четыреста пятьдесят рублей. Бумажка просвечивала. Под словами «получил у» отлично читалось «фруктовое желе». Под подписью моей, которую я в те времена украшал довольно смелым движением вверх, обнажилась сумма двенадцать рублей.

— У вас восемь минут, — сказала Вера.

— До чего?

— До той минуты, в которую я обещала себе уйти. Мне мерили сегодня давление на лестнице. Стояла на подоконнике высоко, вдруг гляжу — сейчас упаду. И в глазах так весело, маленькие дрожащие точки, словно в газировке. Новый мальчик наш меня поймал. Оказывается, есть с утра полагается, особенно если собираешься долго стоять на подоконнике. За восемь минут съедим суп?

Она придвинула свои часы к моим и сравнила стрелки. На её руке остался след от края стола. Суп за восемь минут было не съесть. Мне предлагалось помочь ей нарушить обещание, данное самой себе.

Я пошёл к стойке. Суп в кондитерской был только для своих. Тётя Нина заглянула за занавеску, зажала рукой носик пластмассового кувшина, где мариновался зелёный лук, и вынесла две тарелки холодного свекольника.

— Своих у вас как определяют? — спросил я.

— Тарелки сами моют.

Места у кухонной раковины хватало на двоих, если один не поворачивался. Вера намыливала, я споласкивал. Кран был такой низкий, что тарелку приходилось подсовывать под воду плашмя, и свекольный узор долго гулял по эмали, тончал, от него оставались островки, обточенные с одной стороны больше, чем с другой, потом стекал последний розовый подтёк. За кухней оказалась подворотня, в которой кто-то рубил пустой деревянный ящик на щепки. При каждом ударе дрожала стеклянная полка над мойкой. Я стоял, совершенно не думая ни о своих заказчиках, ни о том, что шёл позавчерашний уже срок выдачи отремонтированного репетира, и мне было бы трудно сказать, в какой части этой простой работы содержалось столько покоя.

— У папы дома кран вот так же к стене прижат, — сказала Вера. — Мама мыла тарелки в большой миске. Инга Петровна, соседка, сидела на табурете, читала вслух рецепты из журнала. Ей выписывали журналы мод и про кулинарию. Сама она готовила только окорочка, а нам читала, как в бисквитное тесто добавить толчёный миндаль. Представляете, как я её ненавидела? Домой идёшь в ноябре, на всех окнах горит свет, в каждом окне чужой человек в тапочках тихо подходит к своему холодильнику. Один. Никто у него не спрашивает, зачем он снова идёт к холодильнику. А ко мне приходит подруга из школы, и Инга Петровна уже спрашивает в коридоре: «Эта у вас будет чай или как?» Хоть ты возьми этот чайник и вместе с кипятком в окно спусти.

— А теперь где она?

— Можете угадать, вы у нас специалист.

Потом Вера сняла с полки сухое полотенце, приложила к лицу, и из-под полотенца, в мягкое клетчатое нутро его, пробормотала:

— Уже два года как. Папа раз в месяц кладёт ей на могилу куриную косточку. Она ему так завещала. Им двоим ужасно смешно было. До сих пор хохочет, когда рассказывает. Хоронить мне её разрешили. Оказывается, это нельзя делать просто так, нужно кому-то иметь право

получить её тело. А ведь я тогда даже не знала, как она без платка выглядит. Знаете, чего я хочу? Такого коридора, чтобы он весь мой. Метр двадцать ширины, три с половиной длины. Лампа с выключателем внутри, половик, гвоздь. На гвозде можно держать двадцать восемь чужих пальто. На моей территории.

— Почему двадцать восемь?

— Столько народу пришло на поминки. Для каждого хватило чашки. Инга Петровна одна за сорок лет набрала на кухне двадцать восемь чашек, а я всё думала, зачем она их в буфет тащит с каждой раздачи.

Мы задвинули тарелки в сушилку. Тётя Нина, которую невозможно было уличить в подслушивании, потому что она никогда и не пыталась подобное скрыть, махнула полотенцем в сторону улицы, велела приходить тридцать первого на голубцы. На улице нам пришлось разойтись в разные стороны. Вериной работы я смутно стеснялся, точно кто-то представил меня студентом человеку, перед которым я всего лишь хотел бы хорошо выглядеть в штатском платье. Я спросил, сумеет ли она ещё встретиться до тридцать первого.

— Если буду знать, что это нужно вам, — ответила она. — А то я нынче сама вас искала, сама всё рассказала. Этак я могу и одна.

И она ушла, обернувшись на этот раз дважды, сперва чтобы проверить, правильно ли выбрала сторону улицы, потом, как я имел слабость предположить, ради меня.

В мастерской у меня жила мышь. Вечерами я выкладывал на полу кружком двенадцать сырных крошек. Когда свет гас, она неизменно начинала с четырёх и с пяти часов — кратчайшим путём к дому. В среду, разложив ей ужин, я пошёл к Нине узнать, не заходила ли девушка с картоном.

На этот раз в зале было пусто. Я купил на свои четыреста пятьдесят рублей три кулька маленьких пирожных, попросил звонить, если Вера появится. Тётя Нина, переписывая мой телефон с визитной карточки в записную книжку, строго спросила, не терялась ли девушка и не надо ли вешать карточку у двери рядом с объявлениями о пропавших кошках.

Я нёс пирожные матери, соседской девочке и Вере. Первые шесть съел на лестнице, ещё шесть — у окна. На другой стороне улицы стояла длинная чёрная машина. Вера постучала ладонью по крыше, дождалась, пока машина скроется за горбинкой моста, и вошла ко мне в дом.

Между вторым и третьим этажом стоял старый платяной шкап. Жильцы каждую неделю поднимали его на один пролёт, медленно выдавливая из дома, как занозу. Я услышал, как стукнула дверца, и короткое проклятие.

Я спустился. Она сидела на ступеньке, засунув руку в боковой проём шкапа. Внутри что-то тихо перекатывалось. Стоило шкапу качнуться, как Вера ойкала, однако вовсе не от боли. Её распирал смех.

— Не обращайте внимания. Он забрал у меня рукав. Я бы вам всё это доказала, насчёт лестниц, даже если бы его тут не было.

Под весом шкапа пуговица попала в раскрытый стык между рамой двери и боковиной. Я прижал боковину к стене, отчего стык разошёлся, пуговица спрыгнула с нитки и внутри шкапа покатилась к другой, которую там прежде потерял кто-нибудь из жильцов. Вера взглянула на меня. Мы слышали, как первая пуговица остановилась, вторая стукнула о неё и обе улеглись.

— Нынче у меня всё просят пуговиц, — сказала она. — Вы, значит, здесь и живёте?

— Хочется сказать, что только работаю, — ответил я. — Такая уж там задняя комната, которую обыкновенно прячут от гостей и молоденьких помощниц. Но я именно здесь и живу. Хотите посмотреть?

Вместо ответа Вера встала и вынула из кармана свою расписку на четыреста пятьдесят рублей, ту самую, с фруктовым желе на просвет.

— Вот. У меня спросили, как ваша фамилия. Сначала я честно сказала, чья это расписка. Потом зачем-то соврала, что передала её папе. Нельзя ли её у вас подержать? Сегодня я как-то неважно со всем справляюсь. И есть хочется.

Я нашёл остаток пирожных. Она вынула из лодочек крем, размазала его по сухому хлебцу и съела, затем отправила в рот пустые лодочки, запивая их водой. На столе у меня стояли три открытых механизма. Вера отодвинула все три на дальний край и положила подбородок на ладони.

— Подойдите сюда. У меня к вам одна личная просьба. Ни одного слова про время до тех пор, пока я сама не спрошу, сколько его. Я сегодня во всех местах опоздала и всюду слушала, как люди огорчены потерянными минутами. Они меня каждый раз так долго упрекали, что я опаздывала к следующему.

Я сел вплотную, наши руки сошлись на столе мизинцами. Какое-то время мы слушали за окном отдалённый, постепенно набиравший силу и снова смолкавший гул тяжёлой машины, которая кружила по тесным улицам и всё никак не могла выбраться к каналу. Я ожидал, что за прикосновением наших рук последует другое, определённое обычаями и нашими намерениями. Вера слегка отодвинула стул и коснулась моих губ своими, однако посмотрела вслед за тем мимо меня.

— Странно, — сказала она. — Всё слышно. Мне казалось, станет как под водой.

— Там тоже слышно.

— Ужас какой вы точный. А мне хочется хоть раз самой ошибиться до конца.

Она обняла меня. В эту минуту где-то за стенкой, отчётливо выговаривая каждую букву, соседка начала учить незнакомого ребёнка слову «э-ле-ва-тор». После первого слога ребёнок икнул. Мы расхохотались так, что пришлось переждать объяснения старшей, а затем Вера, сдвинув к стене коробочки с деталями, села на край постели. Я снял с плечиков стариковскую льняную рубаху, которую держал для пыльных работ, и занавесил ею дверное стекло. Сперва она немедленно упала. Во второй раз я прижал рукава кнопками. За то время, пока я совершал эти дурацкие приготовления, Вера успела разуться и поставить туфли одну возле другой, с таким терпеливым вниманием к их порядку, будто мы прожили вместе половину жизни и она знала, что через час я споткнусь в потёмках.

Я мог бы сообщить, в котором часу на стене против нас прошла золотистая полоска от окна, как тихо дышала она у меня под рукой и какие часы из всех работавших в тот вечер она пожелала остановить. На самом деле я помню всего одну подробность. Возле ключицы у неё был обыкновенный круглый след прививки, но немного выше, почти у плеча, находилась крошечная вмятина, куда лёг кончик моего мизинца. Под ним в ровном, совсем лёгком темпе тёплая кожа поднималась и опадала. Я убрал палец. Она поискала мою руку и вернула на прежнее место. Впоследствии, когда мы расходились, я много раз давал себе слово, что именно эту малость оставлю в покое, сохраню от дурного глаза, от чужого слуха, от своей привычки всё разбирать. Я нарушил слово только сейчас, и вы, кому я рассказал это, отвечаете за мою бедную тайну столько же, сколько я.

Вышла она поздно. Я отдал ей туфли по очереди, сперва правую, потом левую. Страх, что мы начнём обсуждать происшедшее, заставил меня с излишней поспешностью спуститься первым и идти впереди до самого шкапа. Там она остановилась и потребовала пуговицу. Подсвечивая кухонной зажигалкой, я сперва достал чужую, костяную, с двумя отверстиями, затем тёмную костюмную. Вера стала выбирать, и тут-то я впервые отчётливо увидел, как высоким и тонким сделался на шее у неё пульс. Женщина, только что лежавшая у меня под рукой, теперь стояла в пальто на душной лестнице и с мучительной серьёзностью решала, которую пуговицу унести.

— Сколько времени? — спросила она наконец.

Я ответил.

— Мы договаривались до девяти, — сказала она едва слышно.

Я не попросил объяснений. Без четверти десять — странное время, когда почти всё в жизни ещё поправимо, если только сообща решить, что именно нужно поправлять. Мы молча дошли до двери. Вера сняла у меня с воротника светлую нитку, оставшуюся от рубахи на кнопках, поднялась на цыпочки и поцеловала меня туда, где только что лежала нитка.

— Завтра к Нине, — сказала она. — В половине второго. Если буду открещиваться от того, что сказала сейчас, вы не верьте. Это я вполне понимаю, что говорю.

Весь остаток июля мы занимали один и тот же столик, хотя в нём самом, кроме того что из одного места открывался вид на дверь, а из другого — на Верину шею в потемневшем зеркале, никаких особенных достоинств не было. Зато я вправе теперь утверждать, что на нём находилась всё это время моя сахарница. В ту пору я знал о ней лишь то, что в кафе на ней полагается держать руку, если изо всех сил хочется взять другую руку рядом. Отбитой ручкой она обязана мне. Это случилось однажды в пятницу около закрытия, когда в кондитерскую вошёл человек в серой рубашке и, обведя глазами зал, остановился возле кассы. Вера ещё до того, как я повернул к нему голову, так сильно нажала мне на запястье, что моё кольцо, доставшееся от деда и всегда мне несколько великое, соскочило с пальца. Я подхватил его, по пути толкнув фарфор об угол стола. Ручка раскололась мелкой каменной крошкой и покрыла мне колени. Мужчина купил маленькую миндальную корзиночку. С ней он приблизился к нашему зеркалу, поправил зубочисткой застрявший в зубах орех и покинул помещение под необычайно внимательными взглядами двух людей, ни разу в жизни его не видавших.

— Я решила, он папин знакомый, — сказала Вера и, заметив, что я обмёл уже колени и не нахожу, за что взяться, положила мне в ладонь свою горячую ладонь. — Кому я что такое должна объяснять? Я вам всё объясню, когда сумею. Только до тех пор оставьте мне это на потом.

За сахарницу я заплатил Нине Семёновне из денег, полученных за фотографию. Я принёс их через день в конверте. Она потребовала забрать сто рублей сдачи, затем ещё сто, долго не соглашалась выдавать мне на руки треснувшую посудину, объясняя, что всё равно уронила бы её сама, и в конце концов сунула в коробку вместе с сахарницей восьмую долю яблочного пирога. Когда я вышел с покупкой на улицу, на стёклах трамвая зажглось белое раннее солнце, и крошки пирога посыпались на картонное дно. Нести оказалось неудобно. Я остановился на ступенях, съел пирог и неловко взял сахарницу за несуществующую ручку. Пальцы сошлись в пустоте. Пришлось прижать её к груди, охватив целиком, и так я донёс её до дому.

Глава 3
Латунный рейсфедер с костяной ручкой

Конец июля 2014 года

У левого рожка, на внутренней стороне, куда обыкновенно набирается тушь, остался малиновый налёт. При хорошем свете его можно принять за ржавчину, и один мой посетитель, коллекционер чертёжного инструмента, уже потянулся было к карману за свёрнутой вчетверо бархоткой. Крайнее замешательство, в которое меня привело это движение, он принял на свой счёт. Я же всё соображал, как объяснить взрослому человеку, который приехал с Крестовского, привёз с собой вишнёвое варенье и без малого два часа поднимался пешком с моего первого этажа на четвёртый, что он собирается стереть с лезвия свёклу.

На инструментальном столе моего отца подобной вещи цены бы не было. Костяной черенок выточен с четырьмя еле уловимыми гранями. Кость за долгую жизнь пожелтела, и только под свинчивающейся латунной муфтой, если отвести её, сделав пять полных оборотов, обнаруживается узенький поясок первоначального белого цвета. На поверхности черенка сидят сухие сероватые полумесяцы, оставленные ногтями. На левом плече, где сходятся стальные щёчки, процарапаны буквы «ЕЛ». Монограмма так мелка, что незнакомый со свойствами этого предмета сочтёт её заводским клеймом. Если налить между щёчками слишком много туши, буквы утонут, и, прежде чем прижать к бумаге перо, вам придётся тряхнуть рукой, поплатившись пятнышком на груди или на рукаве. Вера употребляла рейсфедер исключительно ради этого мгновения между избытком и недостатком, когда, по её словам, самая скучная черта в мире бывает способна один раз повернуть не туда, куда ей велели.

В конце июля я застал Веру на своей лестнице в синем платье с такой широкой и весёлой юбкой, что мне, привыкшему к строгости её одежды, стало немного обидно, как захудалому родственнику, узнавшему о состоявшемся без него торжестве.

— Пойдёмте, пока можно войти, — сказала она.

Она вручила мне бумажный пакет. В нём лежали две булки с кунжутом, завёрнутые отдельно, кусок сыра и новая пара носков. Носки были мужские, дешёвые, мягкие, с полоской по верху.

— На лесах пахнет известью, — объяснила Вера. — Ботинки промочите, высохнут. А в жёстких носках потом до дому будете идти, как арабский скакун. Размер я взяла на себя, но у вас, кажется, нога не сильно крупнее моей.

До сих пор я могу воскресить то безрассудное чувство обеспеченности, которое подарили мне две булки и носки, купленные женщиной загодя. Пока я спал, она приняла меня в расчёт. Этого обстоятельства оказалось достаточно, чтобы вся прежняя моя жизнь показалась мне временным, не вполне удобным помещением, вроде той привокзальной комнаты, где с ребёнком ждут до утра и утром находят в кармане деньги на настоящий проезд.

Во двор нас впустил человек, державший под мышкой курицу. Вначале я подумал, что курица живая. Голова её, лысоватая, чисто розовая, поникла на стёганый рукав его куртки с доверчивостью существа, которому известна утешительная правда касательно своего места в мире. Человек переложил её с руки на руку, и вся курица запотела. Это была замороженная тушка в полиэтилене. Там, где мне почудился сонный глаз, на закрутке чернела торговая печать.

— Из магазина вернули, — сказал он Вере. — Растаяла у продавщицы, водой налилась. Мне и отдали. Я теперь должен её съесть до трёх часов. Если начну с половины двенадцатого, как по-вашему?

— Георгий Иваныч, у меня получится гораздо вкуснее, если вы её сейчас положите в холодильник и освободите руку, — сказала Вера. — Нам расписаться нужно.

Он вышел из будки, вынес маленькую ученическую тетрадь. Вместо клеток в тетради оказались косые линейки. В детстве я испытал к ним столь сильную неприязнь, что теперь, через тридцать лет, сразу узнал знакомое стеснение в запястье, стремление невольно наклонить вправо всю руку до локтя. Под датами, разбитые по парам, теснились фамилии, и у всякой имелось своё скромное семейство цифр, обозначавших приход и уход. Вера вписала меня рядом с собой.

— Семнадцать пятьдесят, — подсказал Георгий Иваныч.

— Но сейчас десять утра.

— А я уже записал, когда вам уйти. Прошлый раз у меня через главные ворота вышло трое, а по тетради ещё внутри четверо сидели. Пришлось в воскресенье приезжать, выпускать. Жена меня спрашивает, кого выпускал. А я хоть убей не помню.

Он сунул курицу в небольшую солнечную нишу, откуда повеяло холодом сырой земли, и убрал попавшее на полосу солнца крыло поглубже в тень. Вера поставила рядом с фамилиями семнадцать пятьдесят. Когда мы отошли, она объяснила мне, что сторож здесь жил задолго до того, как появился пост, собственно же сторожа сочинили для того, чтобы его не пришлось немедленно выселять. Так человек остался в своей комнате на новом основании и с подлежащей выдаче форменной фуражкой. Фуражку привозили трижды, но всякий раз оказывалось, что голова у него гораздо меньше, чем полагается по ведомости.

Я ожидал увидеть двор-колодец с тяжким каменным дном. Перед нами открылось безобразное, почти сельское пространство, пересечённое зеленоватыми полосами засохшей травы. Посреди его стоял обеденный стол, накрытый дверью, у которой забыли снять латунную ручку, и на двери сохли несколько пар детских ботинок. Каждый ботинок был наполовину выкрашен белой краской. У стола стояла широкая миска с налипшими по краям белыми волосками кисти.

— Декорации кончились, — сказала Вера. — Театральная мастерская занимала флигель. Они выселились в мае, одну комнату ещё держат. Пишут, просят отдать башмаки. Я сама им позвонила, велела приехать, а они говорят, тут башмаков больше, чем у них актёров, не знают, кому какие. Два месяца идут разбираться.

Вера отодвинула лист фанеры с изображением лошади и пропустила меня вперёд. С изнанки лошадь была расчерчена на двадцать восемь клеток. Все были пронумерованы, кроме одной, через которую прошла трещина.

Мы очутились на лестнице под низкой белёной аркой. Архитекторы, когда изображают вход в старое здание, всегда выбирают в качестве первого вида такое положение, при котором видна арка целиком и ещё остаётся воздух над головами у входящих. Здесь у меня уже на третьей ступени забрали весь воздух, опустив мне на темя низкую доску. Вера хотела придержать её и не успела. Из-за доски вылетело тонкое, перлового цвета пёрышко. Я зажал его между ладонями, пронёс две ступени, затем положил на перила. Оно полежало секунду и снова пустилось вниз.

— Утром отсюда дует, — сказала Вера. — Вечером оттуда. Когда вентиляцию считали, эту лестницу считали закрытой. И правильно считали. По бумагам мы стоим на глухом полу. И поэтому деньги на восстановление пролёта не предусмотрены. Что не существует, видите ли, в ремонте не нуждается.

Она вынула из кармана рейсфедер и, взяв мою руку за запястье, спустила её под первое звено чугунной решётки. Пальцы мои коснулись сухой длинной занозы. Казалось совершенно очевидным, что перила отлиты из металла целиком, их листья даже пообббились местами, и в

глубине виднелось что-то, на чугун очень похожее. А край был тёплый, шершавый, под ногтем легко уступал. То, к чему она подвела мою руку, оказалось деревом, окрашенным олифой с сажей.

— Вот эту половинку, дальнюю, когда-то украли, — сказала Вера. — А столяр взял и сделал заново, чтобы люди на нижнюю площадку не рушились. Видите эти тупые листья? У барона, который тут строил, на острие каждого листа стояла капелька. У столяра рука этаким завитком идти не умела. Он просто взял сверло, посадил посередине круглую ямку. И я теперь должна решить, что делать мне. Вернуть капельки по чугунной половине? Оставить дерево? Тут ходят дамы в шубах, задевают мехом, на самом остром листе снаружи висел целый пушистый серый хвост. Я его сняла, потом полдня не знала, куда положить. В истории дома этот хвост оказался никому не нужен. А вам бы я его отдала. По-моему, вы человек, которому хвосты бывают нужны.

Я сказал, что оставил бы дерево.

— Даже если оно под вами сгнило?

— Нужно сперва узнать.

Она подвела меня к тому месту, где сходятся деревянная и чугунная части. В еле видную щель между ними продевалось лезвие рейсфедера. Вера вставила его и без усилия провела донизу. Прибор дрогнул, глухо тюкнулся в основание, как тоненькая ложечка о донце опустевшего стакана.

— Сгнило, — сказала она. — Кроме полусантиметра снаружи. Может, теперь чугун?

— Я бы сделал такую же деревянную половинку.

— Прежде чем решать, приложитесь щекой, — сказал я. — Закройте глаза.

Она наклонилась. Под глазами у неё мелко легла известковая пыль. Щека коснулась сперва чугуна, потом, когда она медленно подвинула голову, почти не отнимая кожи, наступило дерево. Положение её тела, поданного вперёд, с острыми локтями и тёплой щекой у лестничных перил, оказалось до того простым и точным выражением её работы, что я впервые по-настоящему поверил в избранную ею профессию. В то утро я ожидал милости от женщины, а попал на приём к человеку, который без всякого кокетства и почти без свидетелей способен положить свою собственную щёку на гнилое дерево.

— Ой, — сказала она, открыв глаза. — А рукам-то каково было в войну? Если топили, наверное, разницу не замечали. А когда холодно, все хватались за эту половину. И шли по одному краю. Видите протоптанную ступень? Я же голову сломала, почему она только с одной стороны. Никому ничего не говорите. Сейчас вы мне испортите прекрасную мысль какими-нибудь ведрами, которые тут носили в правой руке, а я пока хочу, чтобы было так.

— А вы сохраните обе мысли.

— Не влезают. Пойдёмте наверх. Я для этого вас и позвала.

Окна во втором этаже были заколочены с улицы. Сквозь тонкие световые щёлки зал, в который мы вышли, сперва показался мне разделённым на множество маленьких кабинок. Я сделал шаг, и вся настриженная ломтиками темнота разом перешла на соседнюю стену. Пока глаза привыкали, я видел на этих стенах почти то же, что видят люди, глядящие в растрескавшийся потолок с постели в больнице. В одном месте проступила собака, в другом белый профиль с горбатым носом, потом профиль развалился, и я заметил, что между ошмётками штукатурки плавает в воздухе пыльца, голубовато-серая, совершенно неподвижная, как в бархатной коробке с брошью.

Вера отодвинула щит на окне. Справа и слева проступили плечистые гипсовые женщины в венках. Одной не хватало обеих рук, другая придерживала стену, уткнувшись лбом в белую розетку. Снятые со стен части лежали на тележке: шесть пальцев, младенческая ступня, два акантовых листа и грудь с отверстием, куда некогда выводился провод. Над тележкой, под самым потолком, показалась нога в резиновой туфле.

— Павел! — крикнула Вера. — Вас же на крыши перевели!

Он спустился по лестнице, которой снизу мы не видели, и отодвинул доску. Нам открылось окно во всю вышину зала. Между нами и уличным светом лежала нетронутая тень балкона, похожего на хорошо смолёную каюту. Павел носил резиновые туфли на босу ногу, лиловую рубашку с отрезанными рукавами, а на груди у него висел в сетке сухой на вид, невероятно старый пряник. Это оказалась губка. Он исправлял водяные пятна на картинах, писанных по сырой штукатурке, и губку всё время носил при себе, потому что кто-нибудь обязательно успевал вытереть ею пот с собственной шеи.

— Нам туда? — спросил я.

— Если за рекой пришли, то прямо, — сказал Павел. — Если целоваться, не нынче. Нынче я везде бегаю.

Он получил от Веры сыр, явно ему предназначавшийся, при мне развернул и чуть погодя медленно вычеркнул со знака мокрой тряпкой одну букву, так что вместо «Не входить» получилось «Не ходить». По его словам, это было точнее. Стоять-то можно.

Я взял Веру за руку. Доски настила прогнулись едва заметно. С одной стороны белели пятнышки воробьиного помёта, с другой шла голубая полоса, оставленная кем-то, кто вытирал о дерево кисть. Под досками, слой за слоем, уходило вниз пыльное запустение. Я сел и стал продвигаться короткими толчками. Вера нахлобучила на меня большую форменную фуражку, висевшую на гвозде, и велела смотреть из-под козырька на двор.

Я повернулся. Прикрытые длинным козырьком глаза мои, получив наконец защиту от слепящего уличного света, различили нижний край здания напротив. Больше ничего. Вера придержала меня за затылок, как делают со слепым человеком, когда он впервые после операции учится понимать слово «вверх», и постепенно опустила козырёк ещё ниже. Картина сузилась. Я увидел один-единственный прямоугольник двора, тот самый стол с ботинками, траву, две крохотные фигуры у ворот. Одна из них держала в руках замороженную курицу, теперь, вероятно, вполне оттаявшую. Между столом и воротами простиралась нестройная россыпь серых и голубых камешков. С высоты они складывались в буквы.

— «Лида», — прочёл я.

— Нет. Смотрите справа налево. «Дали». Перед этим ещё было «нам». Наверное, была целая фраза. Мне очень хотелось узнать, что им дали. Хлеб? Комнату? Фальшивую пятёрку на базаре? Театр въехал в пятьдесят третьем. Я всю прошлую осень расспрашивала стариков, они уверяли, что здесь всегда был газон. А вчера сняли дёрн, и вот вам. Человек собрал четыре десятка камешков, присел, выложил их в ряд. Другой хотел засыпать, пожалел, оставил. Помните, я говорила, что езжу по реке смотреть, сколько времени из-под моста видна дверь? Мы сейчас чуть выше тех, кто стоял за ней. Я для них делала проход к воде. И для этих, с камешками. Здесь станет общедоступный двор. Я обещала. Вы первый человек, которому я показываю, как это будет выглядеть.

— А кому вы обещали?

— Тем, кто ещё жив. Сторожу. Маме. Ещё двум-трём. Я хочу показать место тому, кто заплатит. Он должен увидеть, что за четыре секунды ребёнок успевает рассмотреть весь двор насквозь, если открыть старые ворота. Десять секунд, вы ведь засекли. И на десять секунд вид из лодки у него останется в памяти, даже когда потом тут всё будет новое. Денег, знаете, стоят такие вещи. Вы на меня не глядите, вы на двор глядите.

Снизу до нас донёсся слабый удар, потом другой, чуть сильнее первого. Георгий Иваныч вышел во двор с молотком и принялся вколачивать в землю обрезки латунной трубы, обходя надпись из камней. Вера вскинулась и ударилась виском о мою фуражку.

— Он же сейчас всё разворотит!

Сторож между тем натянул на латунные трубки кусок бечёвки, оградил камешки со всех сторон и, подумав немного, привязал к ограде записку. После каждого действия он отступал

на два коротких шажка и, сложив по-ученически руки за спиной, смотрел под ноги. Вера вдруг уткнулась лицом в мягкое сукно на моём колене. Плечи её дрожали. Я стал подбирать слова утешения, хотя не вполне понимал, что, собственно, произошло, и, лишь когда она подняла голову, увидел, что рот у неё растянут до ушей.

— Ну какой же я человек! Он, оказывается, всё утро мне оградку делал. А я ему успела выговор придумать, пока он молоток поднимал. Иногда, знаете, Сеня, мне всё-таки кажется, что лучше бы никто не работал у меня под началом.

Это было первое её «Сеня». Никакого особенного веса этому слову она, разумеется, не придала, и если бы я указал ей на него, оно смутило бы нас обоих. Я придержал её ладонь у себя на колене. Вера повернула её ребром, и в узком пространстве между нашими руками получилась замкнутая камера, где некоторое время жила её маленькая тёплая жилка.

— Тут можно лечь, — сказала она. — Я пробовала. Когда снизу глядят, видно только два носа над балкой. Как будете потом показывать детям этот дом, скажете, что на самом верху жили два длинных носа. Папа мой говорил, что это лучшее из доступного нам наследства.

На настиле, ближе к стене, где доски лежали на сплошном основании, помещались как раз двое. Потом мне случалось нарочно заходить в только что выбеленные помещения, чтобы испытать на себе не столько силу воспоминания, сколько предел его точности. Запах извести каждый раз возвращал меня к этим доскам, но никогда ещё по одному запаху не возвращалась Вера. Для этого требовалось ещё, чтобы где-то в стороне пожилая женщина сказала «масло кипит», чтобы над губой отозвалась чужая кожа, пахнущая вымытой медной монетой, и чтобы мне опять было тридцать четыре года и передо мной лежала женщина в синем платье, у которой имелось своё мнение о том, когда ей закрыть глаза. Я целовал её долго и, должно быть, неумело, потому что вскоре она взяла мою голову руками с тем же терпением, с каким только что направляла фуражку, и немного повернула. В плече у меня освободился какой-то зажим, о котором я и не подозревал, а её волосы, пахнувшие совсем просто, мытым корнем и свежей наволочкой, соскользнули по запястью до локтя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.